

Николай
Нефедов

ВЧЕРА
И СЕГОДНЯ

Николай
Нефедов

ВЧЕРА И СЕГОДНЯ

рассказы,
повесть

МОСКВА
СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ
1986

Художник Валерий ПЕРЕБЕРИН

Нефедов Н. Н.

Н58 Вчера и сегодня: Рассказы, повесть.— М.: Со-
ветский писатель, 1986.— 240 с.

В сборник Н. Нефедова вошли небольшие рассказы и повесть «Бандиткин хутор». Писатель обращается к сегодняшнему деревенской деревни, к памяти о дне вчерашнем, к тем корням, которые роднят и сближают автора с его героями.

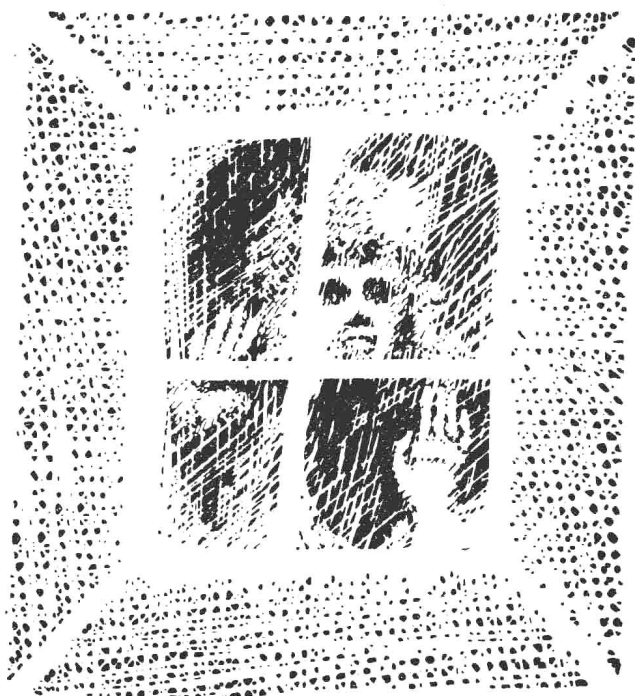
Н $\frac{4702010200-159}{083(02)-86}$ 95-86

ББК **р7**

© Издательство «Советский писатель», М.

ЗАВАЛИНКА

рассказы



Завалинка — земляная насыпь вокруг избных стен (В. Даль. Толковый словарь).

Завалинка — земляная невысокая насыпь вдоль наружных стен избы (С. И. Ожегов. Словарь русского языка).

Завалинка, осмеливаюсь я добавить, особенно в средней России, не только земляная насыпь «вдоль наружных стен изб», а и удобная — можно, думаю, так сказать — скамья (отделанная в зависимости от вкуса хозяина и хозяйки), на которой после трудового дня приятно погутарить с соседями и друзьями или просто семейно о делах что ни на есть конкретных, сиюминутных, а порой и часто, коль компания мужская собралась, — международно-космического порядка.

Теперь в деревнях изб с завалинками становится все меньше — их сменяют дома на бетонных фундаментах, надобность в завалинках для утепления подполья отпадает, но... завалинки будут, есть и множатся.

В городах давно, в деревнях теперь — входят в моду стандартные скамьи и разного рода скамеечки в уютных местах. Скамьи у подъездов многоэтажных домов, в скверах, парках, под яблонькой в саду, прочих уютных местах — это завалинки. Их постоянство неистребимо, ибо они неподвластная никому традиция. И я часто и редко, случайно и специально сидел на завалинках, стоял рядом, слушая разговоры, ловил, проходя мимо, фразу, слово ли, и вот из них, этих фраз, слов, родились рассказы.

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

Разъезд, на котором мы остановились, по моему, и названия-то не имел. Помню небольшое дощатое строение, занесенное снегом, оградительные щиты, сугробы за нами, по которым стлались, извиваясь, бесконечные космы метели.

Метель мела и вдоль нашего состава. Рядом, по свободному второму пути, вихрем проносились поезда. Они неслись туда, где находился наш город.

А стоило вихрю успокоиться, как где-то далеко снова зарождался неясный шум, шум перерастал в глухой гул, явственно начинали постанывать рельсы, и неожиданно из-за поворота вырывался весь заиндевелый, задыхаясь от тяжелого бега, паровоз. Огромный, он проносился в гари и копоты, с властным ревом гудка. За паровозом — открытые платформы, теплушки, платформы, платформы... Растворялся в снежной мгле последний вагон, и, успокаиваясь, покорно ложилась меж рельсов заметь песка, копоты и снега.

Шел тысяча девятьсот сорок второй год. Я знал, что мы снова полезем в теплушку и мать откроет чемодан (а мы успели взять при эвакуации заранее приготовленный узел с нашим детским бельем и еще этот чемодан, в который мать положила продукты и зимнее пальто отца) и достанет из него узелок с едой.

Вот она разворачивает пальто, достает узелок и, впервые не таясь от нас, не пряча запаса продуктов, разламывает краюху хлеба на три части, дает нам по куску сахара, потом встряхивает пальто и принимается надевать его поверх своего. Наши попутчики спрашивают мать, что она собирается делать, — но она лишь машет рукой, подпоясывается куском того полотна, в котором были наши продукты, укутывает потеплее сестру, меня, берет в руку узел с бельем, оставляет под нарами пустой чемодан и, обращаясь ко всем, говорит:

— Здесь останемся. Доброго вам пути всем, — и кланяется.

Никто ничего не говорит ей в ответ, но все встают и помогают нам спуститься по лесенке из теплушки, перелезают вслед за нами под вагонами на другую сторону состава, стоят до тех пор, пока мы не сворачиваем за крайнюю избу. Впереди застывший в холодной дре-

ме, словно вымерший, занесенный снегом маленький поселок.

В крайнем доме мы погрелись, мать о чем-то поговорила за перегородкой с хозяйкой, и вскоре мы снова поплелись по еле пробитой в снегу тропинке дальше, а хозяйка нас все крестила вслед.

Шли мы долго по голому полю, лощиной, по еле заметной дороге, и стало уже смеркаться, когда мы доплелись до деревни, прячущейся под боком небольшой рощицы. Но крайнюю избу мы миновали, миновали и еще две, остановились у высокого, с большими окнами нового дома.

Просторное крыльцо, просторные тесовые сени. Широкая дверь вела в большой скотный двор. Правда, во дворе было пусто, лишь в закутке жалась к стене грязно-белая коза.

В этой деревне, в этом доме мы поселились. Надолго ли, неизвестно.

В деревне много эвакуированных. Живет и у нашей хозяйки женщина с девочкой. Женщина работает в колхозе, а нашей маме здесь работы подходящей не нашлось. Она устроилась в соседнем селе. Уходит она, когда мы спим, и возвращается, когда уже темно.

А спали мы много только в первые дни. Теперь же просыпаемся рано. Но лучше бы спать. Мы и стараемся спать, да вот беда—будит голод. И, как нарочно, sny снятся все про еду, еду, еду... Рассказывает о таких снах и моя сестра Людка, не отстаёт от нее и Зинка—дочь той женщины, что поселилась у хозяйки до нас. Я крепко зажмуриваю глаза, вижу, как бегут по полю бойцы с винтовками наперевес, мчатся впереди них танки, а мои руки сжимают крепко-накрепко гашетки пулемета: та-та-та, та-та-та! Я переворачиваюсь со спины на живот, от резкого движения подо мной сдвигается старое одеяло, холодные жесткие кирпичи (за ночь печка остывает) возвращают сразу к действительности. Сегодня мне особенно хочется есть. И я уже не сжимаю гашетки пулемета. Вместо картины боя перед глазами—кусочек ветчины и яйца. Это богатство я увидел сегодня не во сне, а наяву. Вначале я заметил бабку, нашу хозяйку. Она стояла в сенях, куда я выскочил по малой нужде, около приставной лестницы,—видно, лазила на чердак, или, как тут говорят, на потолок,—задумчивая, и держала в руках чашку. Увидев меня, бабка мгновенно при-

крыла глиняную чашку полой телогрейки. Но я успел все разглядеть: кусок ветчины, яйца — успел даже сосчитать, их было пять. Я приостановился, взглянул хозийке в лицо и заметил, как оно потемнело.

— Шастаешь без конца!

Я повернулся, забыл, зачем и выскакивал в сени, вбежал в избу, захлопнул за собой дверь.

В избе тишина. Шепчутся только на печи девчонки, но это не мешает мне прислушиваться к тому, что делается в сенях. Что-то загремело. «Ага, лестница. Старая скряга снимает лестницу и приваливает ее боком к стене вдоль сеней». Шаркающие шаги. «Понятно теперь, почему ты не разрешала мне залезать на чердак».

Несколько раз я хотел услужить бабке, слазить на чердак за сеном для козы, но хозяйка всегда сердито отмахивалась: «Сама слазю. Упадешь еще».

Меня душила злость. «Жадюга!.. Гадкая жадюга...» — повторял я.

Не скажу, что «жадюга» встретила нас ласково, но и в неприветливости ее не упрекнешь. Когда мы пришли, открыли дверь (мама было попыталась постучать, но стучала она по обивке, а солома заглушала звук) и остановились, заиндевелые, у порога, бабка тут же принялась раздевать сестру. Раздевая, сердито покосилась в мою сторону, и я снял шапку, шарф... Мать попыталась что-то сказать, но бабка жестом остановила ее:

— Потом. На печь сажай!

Сажать, вернее, подсаживать на печь пришлось одного меня. Сестра, лишь только ее раздели, тут же уснула, и ее уложили, сонную, на кровать. Потом старуха помогла матери стянуть отцовское пальто, вышла с ним за дверь, вытряхнула набившийся снег, вернулась. Мать тем временем тоже разделась и прижалась к печке спиной. Одежда наша валялась у порога.

— Одежу в чулане развесь, — сказала бабка матери, не взглянув на нее, и тоже ушла в чулан, принялась греметь чугунами.

— Как величать-то тебя?

— Милой.

— Это что ж за имя такое? Маланья, что ль?

— Простите. — В голосе матери слезы. — Меня Людмилой зовут. А это... муж так...

— Ну-ну, — старуха вздохнула. — Есть из чего слезы

лить. Людмила так Людмила. Садись щец хлебни да мальчика покорми, если не сморился еще.

— Сынок! Саша! — позвала мать.

Но я не откликнулся, я не мог ответить, меня сморила усталость и тепло.

Утром я проснулся рано. Разбудили голоса: громкий — старухин и тихий — матери.

— Сама видишь, хоромы у меня почти барские, да живу я не ахти.— Старуха повела рукой от двери к чулану, к печке, на которой я спал в ту ночь, к большой деревянной кровати, за которой была вторая большая комната — горница, закрытая на зиму, указала на часы с боем, на самодельный комод, широкую лавку под окном, и рука ее легла на стол, за которым они сидели с моей мамой.— Говоришь, музыке учила ребят. Это хорошо. Только у нас ей, музыке-то, отроду не учили. У кого охотка есть да струмент под рукой — сам научится.— И тут же строго, убежденно: — По теперешнему времени о музыке грех говорить. Смерть по земле ходит без роздыху.

Старуха, маленькая, сухонькая, пожевала синими бескровными губами; склонясь к столу, разглаживала узловатыми пальцами стертую клеенку.

— Идите, родимые, к соседке. К Макарихе. У нее дом теплей и жилищка одна, давнишняя, учителька, еще перед войной приехала.

— А пустит? — робко спросила мать. Она сидела у окна.— Мне на разъезде к вам советовали...

— Советовать можно. Кума Арина знает одно, что дом новый, а...— Она махнула рукой.— Был старик жив, царство ему небесное,— старуха перекрестилась на угол,— дело другое. А так мы в дом все вложили, коза на дворе осталась. Да дело и не в козе, была бы картошка, а то и картошки не густо. Не знаю, чем кормиться будем...

— Я всегда работала,— говорит мать.

Старуха молчит долго, потом говорит:

— Работала. Это знамо. Без работы нельзя. Я к тому, девонька, что у Макарихи оно посытнее вам будет. А работать, что ж, без работы, говорю, нельзя, да только музыке-то учить некого.

— Аграфена Петровна...— начинает мать, и тут я не выдерживаю.

— Мама, мама! — соскакиваю я с печи. Никогда не

забуду, как больно ушиб пятку о пол.— Мама! Пойдем к Макарихе, пойдем, не проси ее!

Хватаю одежду, помогаю испуганной Людке слезть с кровати, и вдруг цепкая рука больно сжимает мое плечо, я вскидываю голову и вижу над собой такое сейчас ненавистное морщинистое лицо бабки с носом пуговкой. У меня не хватило сил отцепить от своего плеча бабкины пальцы, и я пускаю в ход зубы.

— От звереныш! — Старуха отдергивает руку, и тотчас же ее сухие костяшки пальцев больно ударяют меня в лоб.

— Яга! — кричу я и выскакиваю за дверь.

Я не знаю, о чем говорили старуха и мать, пока мороз сушил мои слезы, но открывается дверь, и ласковые материнские руки втаскивают меня в тепло, я вижу мать уже без пальто, сестра за столом, и перед ней горка горячей рассыпчатой картошки.

— Ешь садись, ерой! — В голосе хозяйки ни ласки, ни приветливости.

Я отворачиваюсь и отталкиваю руку старухи.

— Ешь,— повторяет хозяйка.— Макариха-то тебе за укус всыпала бы почем зря, а я вон картошкой угощаю. Хе.— И не поймешь, смеется или плачет.

— Нужна мне ваша еда,— отвечаю я, а запах горячей картошки так и бьет в нос.

— Садись, сынок,— говорит мать.— Мы у Аграфены Петровны останемся.

Я сажусь на кончик лавки у стола. Все едят. Руки у старухи крупные, со вздувшимися венами, пальцы скрючены, и вижу я рукав кофты с заплаткой на локте; еще рассмотрел, не знаю почему, на рукаве две пуговицы — одна маленькая белая, другая стеклянная синяя с рубчиками, и я подвигаюсь ближе к столу, беру первую картофелину, обжигаясь, без соли и хлеба, торопливо ем.

...Так мы и остались в этом доме. Спим на печи я, сестра и Зина, бабка — на казенке — деревянной пристройке к печи, на кровати — тетя Лена, мать Зины, и моя мама.

И все вроде наладилось у нас. Вчера тетя Лена принесла почти полмешка проса, сказала весело: «Живем!» — а вечером моя мама положила на стол несколько крупных синеватых кусков сахара, буханку хлеба и целый пакет лущеного гороха. Все мы сидели за столом,

пили чай, смеялись. Испортила все опять бабка. Когда Людка попросила сахара и потянулась еще раз к мелко наколотым кусочкам, старуха сказала: «Хватит!» — убрала со стола сахар, горох, хлеб и спрятала в чулане.

Ужин закончился, все разошлись по своим местам, лишь старуха, погремев посудой в чулане, становится на колени посреди пола лицом к углу, где под потолком висят иконы, и в середине их — новая, самая большая. На ней нарисована мужская голова с длинными волосами. Лицо суровое, нос тонкий и черные навывкате глаза.

— Кормилец ты наш и заступник, — шепчет старуха. — Спаси, господи, раба твоего Григория! Дай ему, господи, силу, чтоб врага одолеть своего. Дай ему, Иисусе...

Далее бабка шепчет все громче, торопливее. Я с трудом разбираю ее слова. Заканчивала она молитву всегда одинаково. Истоиво ударяла сложенными щепоткой пальцами в лоб, живот, плечи, кланялась низко и шептала что-то в пол, и я различал только отдельные слова или их окончания: «десь» или «донесь», «воз дам» или «воздам», «хлеб насущный» или «хлеб несущи». В конце концов я решал, что старуха просит дать ей воз хлеба, а она даст его нам. Довольный бабкиной просьбой, я засыпал, а утром повторялось все то же: маленький, крошечный кусочек хлеба и картошка в мундире. Хлеб я съедал сразу, картошку жевал медленно и с ненавистью смотрел на икону, перед которой бабка каждый день клала земные поклоны.

И вот сегодня эта история с ветчиной и яйцами. Я забрался за печь, слушал, как бабка выпроваживала на улицу Людку с Зинкой, и решил: гулять ни за что не пойду.

— Пройдись и ты, — обращается ко мне старуха.

Я молчу. Старуха постояла, потом снова:

— Пойдешь на улицу, неслух?

Молчу.

— И-ээ-х, — вздохнула старуха и отошла от меня, загремела посудой.

Слышу, бабка принесла дрова, растопила печь, что-то зашипело на сковородке, загремели ухваты, чугуны. А потом поплыли такие запахи, что у меня закружилась голова, и я не выдержал, отполз в угол, протиснулся

крадучись за трубу, где между трубой и стеной было пространство, заглянул в чулан. То, что увидел, заставило меня зажмурить глаза. На деревянной подставке лежали горкой румяные блины, и старуха окунала пучок перьев в блюдечко с маслом, мазала их поверху, складывала вчетверо и, опуская в чугунок, приговаривала: «Потомитесь, милые, потомитесь». Потом прикрыла чугунок сковородкой, достала с полки кусочек ветчины, принялась резать на ровные доли, раскладывать на тарелке. Тарелку накрыла другой тарелкой, поставила на окно. Потом взяла ухват, достала еще чугунок, сбросила сковородку с него и подцепила половником большущий кусок мяса. Больше я смотреть не смог, прыгнул с печи на пол и начал одеваться.

— Пойду погуляю!

— Иди, иди! — обрадовалась старуха.

Слонялся я до самой темноты. Видел, как пришла с работы тетя Лена, видел и свою мать, сметавшую у дома с валенок снег, слышал, как звали в дом девчонок, меня, но я не откликался. Я хотел прийти уже к накрытому столу.

Когда, по моим расчетам, время такое наступило, я поднялся не торопясь на крыльцо, бесшумно прошел в сени и рванул дверь. Бабка, наклонив голову, тихая и какая-то отрешенная, словно кого-то ожидая, сидела на лавке у печи.

— Что ты так долго? — спросила мать.

К горлу подкатывается ком, я, не отвечая, торопливо лезу на печь. Меня душит злость и обида. Мать тяжело вздыхает. Вздыхает и старуха, встает, одевается и уходит. Вот проскрипел снег под ее валенками, и теперь только слышен шепот тети Лены: она рассказывает девчонкам сказку.

...Проснулся я вдруг отчего-то сразу и догадался: пока спал, что-то случилось. Что, я не знал, но что-то случилось... Обычно в избе горел подслеповатый «моргасик» — самодельная лампа из пузырька, жестянки и тесьмы, — вечно коптящий и освещавший только крышку стола, теперь под потолком ярко горела семиллинейная со стеклом лампа. Стол накрыт чистой скатертью, и от скатерти белой, от яркого света сразу охватила меня праздничная приподнятость. Я привстал и увидел на

столе знакомый чугунок с блинами, от которых шел пар, тарелку с ветчиной, пять яиц, горку хлеба и еще чашку капусты и рядом с ней припотелую бутылку, запечатанную сургучом.

— Садитесь, милые,— приглашает старуха мать и тетю Лену.

— Может, подождем еще...— отвечает тетя Лена.

— Чего же ждать, дорогие,— говорит старуха и первой идет к столу.— Пусто вот здесь стало,— показывает на грудь.— Походила по морозцу, за околицу, по дороге на станцию прошла, и сошло с меня наваждение. А все эти дни сердце так и колотилось, так и колотилось. Сама разумом-то понимаю: пустая надежда моя. Где ему появиться, коль под самым Сталинградом он, бои страшные идут. А приснился сон позавчера, будто сегодня он заявится, да так ясно привиделся. Входит в дверь вот эдак,— старуха идет к двери и показывает, как он будто бы входит,— снимает мешок заплечный, скидывает на эту вот лавку,— хлопает по лавке,— шинель, шапку от снега выбивает о колено, всегда он так делал, и говорит: «Не ждала, маманя?» А я, дура старая: «Не ждала»,— отвечаю. Обнял он меня, и... проснулась я, голова дурная. «Ведь у него же завтра день рождения,— думаю я,— а вдруг сон в руку?» Схватились — да к Макарихе. Она как раз печь собиралась топить. «Погадай,— говорю,— соседushка, сон видела». Раскинула та карты, и ничего я о сне-то ей не говорила, а она мне: «Свидание тебя ждет, старая». У меня сердце так к горлу и подкатило.— И она приложила к глазам платок. Платок на бабке был новый, белый в горошек, длинная новая юбка и широкая кофта, синяя, с оборками на поясе.— Ну ладно, ладно,— успокаивает старуха сама себя и плачущих мать и тетю Лену.— С чего мы будем слезы лить? У них, чай, тоже сердце чувствует, когда мы мокроту разводим.

Может, я неловко повернулся и старуха услышала, может, просто вспомнила обо мне, но она вдруг вскинулась и подошла к лежанке.

— Я так и почуяла, что не спишь ты, соколник. Вот и славно. Садись с нами за стол.

Я не знал, как мне поступить.

— Слезай, Саша,— позвала мать, и я слез, сел за стол.

— Будешь ты у меня, Александр, вместо гостя же-

ланного,— говорит старуха и подвигает ближе ко мне блины, яйца, ветчину, хлеб. Берет со стола бутылку.

— Может, побережешь водку, Аграфена Петровна? — говорит мама.

— Нет, подружка. Примета плохая.— И с этими словами она бьет ладонью о дно бутылки, говорит: — Мас-так был старик, царство ему небесное.— Пробка удари-лась в стену. Аграфена Петровна подвинула поближе рюмки, наполнила их.— А придет Гриша с войны, в Митрево сбегает. Мне Маняшка в ночь-полночь магазин от-кроет.— И подняла рюмку.— Выпьем за здоровье моего Григория Семеныча. Двенадцать пятый ему сегодня по-шел. Один он у меня, первый и последний. Ешь, милоч.

Все выпили и потянулись к закуске.

— Ешь,— повторила старуха, и я увидел близко от своих глаз ее когда-то, наверное, очень глубокие, теперь выцветшие, добрые и совсем беззащитные глаза.

ПОСЫЛКА С ТОГО СВЕТА

В деревне Дубровке сравнительно много до-мов. Более сотни. Улица одна. Широкая. Посреди улицы пыльная от пыли дорога. После того как в соседнем большом селе стало производственное колхозно-совхоз-ное управление, дорога совсем не отдыха-ет; пыль на ней превратилась в пурень: так называют здесь местные жители что-то такое пушисто-легкое, обычно остающееся после хорошо прогоревшей соломы. Только пурень эта тяжелая, темная и под колесами те-лег поднимается чуть-чуть, ложится тут же, а вот после машин долго висит серой свинцовой полосой, оседает медленно, трудно, и не только на дороге, а до самых домов.

Сейчас август — уборка хлебов, и пыль висит от рас-света до заката. Потому шла Матрена домой с поля вдоль реки, не села и в кузов с зерном последней ма-шины, отправлявшейся от комбайна, на котором она ра-ботала копильщицей. Черпнула лишь горсть, чтоб по привычке рука была занята, а теперь нет-нет и взгля-дывала на золотистую россыпь в ладони, подносила к лицу, вдыхала спелый аромат, любовалась, шептала:

— С хлебом будем. С хлебом. Хорош, батюшка, уро-
дился.

Она подошла к роднику, стянула с головы платок, зажала его под мышкой, вытащила другой рукой шпильку из волос, гребешок. Тяжелая коса свалилась на грудь, зашекотала потную шею.

— Ах тебя! — воскликнула с досадой, забыв про шпильку в губах, и шпилька тихо булькнула в воду.

Матрена быстро-быстро, кое-как, причесала растрепавшиеся волосы на пробор, закрутила на затылке тоже кое-как косу, закрепила ее гребнем и наклонилась к роднику.

Шпилька лежала на дне. И с того места, где она лежала, торопливо поднимались мелкие-мелкие пузырьки. Достигнув поверхности, пузырьки расходились еле заметной рябью, увеличиваясь по мере подъема. Но не пузырьки привлекли внимание Матрены. На дне этого родника лежала когда-то тоже шпилька. Возможно, на том же самом месте...

Когда это было?

Летом. В июне. Был такой же жаркий день. Только не уборку яровых они закончили, а косовицу трав...

Матрена наклонилась ниже к роднику и увидела не эту большую роговую, а ту маленькую металлическую шпильку. Увидела себя, склонившуюся над родником. Но не такую, как сейчас, — располневшую, с лицом в мелких морщинках. От той сохранилась разве только русая коса, заплетенная в три тугих и крепких пряди. У той были глаза цвета родника, свежесть лица — что прохлада его воды, губы сочнее тех ягод, что краснели в росистой траве. Была она яснее той ранней зорьки, в которую они вышли на покос.

Упала капля на спокойную гладь родника. За ней — другая. От маленькой капли побежали круги, смыли лицо девушки, что грезилась лишь только.

Матрена отерла платком слезы, тяжело разогнувшись, но не в силах была встать и пойти. Она опустилась на прогретую землю, на буйно разросшуюся здесь, нескошенную вокруг родника траву, подобрала ноги под себя, уронила на колени руку с зажатым в кулаке платком, другую опустила на траву; не замечая, стала рвать ее, сжимая и разжимая пальцы. А сама все смотрела, смотрела на видневшееся вдали крыло ветряка.

Солнце вот так же тогда скатилось вниз, почти усе-

лось на крыло. Непокойное было время. Тридцатый год. Колхозы только организовались. У них в деревне три двора единоличничали. В одном из этих трех батрачила шестнадцатилетняя Матрена. А батрачила или жила в семье — не поймешь. Отец погиб в восемнадцатом, мать умерла. Взял ее к себе на воспитание Григорий Савватеев. Не богатый мужик и не бедный. Росла, работала. Не обижали. За красоту ее, сноровку хозяин, можно сказать, любил. В пьяном виде куражился, не поймешь, всерьез или в шутку кричал: «Расти, Матрена, быстрее. За сына отдам. Гляди, орел какой!» Сын Григория Савватеева, Степан, и впрямь был парень ладный. Старше ее, Матрены, на три года. Рдело лицо ее при встрече со Степаном. А встречались часто: в одном доме жили.

Сдержал бы свое слово хозяин или не сдержал — неизвестно, у другого, зажиточного мужика в деревне тоже дочь росла, одноклассница Матрены. Та девушка тоже была красивой. Возможно, в трезвом виде Григорий Савватеев все решил бы иначе. Кто знает, что и как бы он решил, если бы не тот день...

Закончили они косовицу, и побежала Матрена к родничку напиться. Напилась и загляделась на себя, замечталась о Степане.

И, словно в волшебном зеркале, увидела отражение лица любимого. Замерло у нее сердце, и не могла она слова сказать, хоть и видела руки Степана, протянувшиеся к ее плечам, чувствовала прикосновение этих рук. Ничего не могла с собой поделаться Матрена, застыла от счастья. Только сердце колотилось, готовое выскочить из груди, да билась-билась синяя жилка и маленькая родинка над ней. Сердце как бьется, не видно, а синяя жилка и родинка в чистом роднике отражаются. Перед тем как напиться, распахнула Матрена кофточку, чтоб грудь родниковой прохладой овевало, утром и рубашку не надела, чтобы жарко так не было.

Опомнилась Матрена. Хотела вскочить, запахнуть, но булькнуло что-то в это время в воде. Увидела на мгновение свою шпильку на дне родничка, конец своей косы, шлепнувшийся о воду, повернулась стремительно и... замерла в объятиях Степана. Ох как жарок и отчего-то так солон был их первый поцелуй! Ох как надолгохватило дыхание!

И не помнит она, что было дальше. Помнит только,

как открыла глаза и увидела темный силуэт на фоне неба.

— Степан! — закричала испуганно. — Стоит кто-то!

— Где? — испуганно выдохнул он и тут же, догадавшись: — Лежи. Ветряк. — И пояснил еще лениво: — Крыло от ветряка.

— Сердце выскочит, — шепнула она.

— Где? — спросил Степан и положил руку на то место, где все еще билась синяя жилка и чуть повыше — темная родинка над ней. У Матрены не хватило сил отвести его руку.

Потом он целовал ее глаза, губы, груди, а она гладила его спутанные волосы и только шептала между поцелуями: «Не надо, Степушка. Не надо. Твоя я. Не надо». Потом плакала. Шептала: «Стыдно, Степа. Что будет теперь? Шестнадцать мне ведь. Шестнадцать».

— Ничего не будет, — шептал Степан и добавлял громче: — Женюсь вот. То и будет.

Матрена вытерла слезы и увидела прямо перед собой крыло ветряка. Почувствовала вдруг боль в пальцах правой руки, с удивлением обнаружила, что вся трава с правой стороны родника вырвана.

Садилось солнце. Вот уже подул предвечерний ветерок, донес далекий шум то ли из деревни, то ли с поля. Сейчас не поймешь: последние дни жатвы озимых и шум работы кругом.

«Господи, как это я так, — сказала про себя. Поднялась, постояла, взглядываясь в даль, вздохнула: — Что было, былшем поросло».

Повязала платок, наклонилась испить воды, увидела шпильку, хотела достать и раздумала.

— Пускай, — махнула рукой.

Она уже словно замкнула свое сердце и спрятала ключ. Склонись она за шпилькой, быть может, вновь нахлынули бы воспоминания, вновь пришлось бы вытирать глаза. А теперь на лице ее, кроме заботы и усталости, ничего не было.

Солнце почти спряталось за мельницу. Тени от Матрены и от воткнутой в землю вил вытянулись до самой тропинки, по которой давно уже пора идти в деревню. Матрена увидела тени, спохватилась:

— Что же это я так, а? Времени сколь потеряла!

Поправила платок, взяла вилы, повернулась снова к родничку. Шпилька лежала на дне, и теперь уже не